

Часть первая

ПАВЛИК И ЮРА

Elle était pâle — et pourtant rose,
Petite — avec de grands cheveux...¹

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было — обратное бледности, а все-таки она была — *pourtant rose*, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918 г. — 1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полнотной сцене.

«Метель» моя посвящалась: — Юрию и Вере З., их дружбе — моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий — моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а

¹ Она была бледной — и все-таки розовой, Малюткой — с пышными волосами (*фр.*).

из встречного видения, особенно — рот, от природы — презрительный, углами вниз, и глаза — обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли — меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей — оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история — с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я еха-

ла в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деда
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась — с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет — сорвался и умолк...

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший —
 странный — непокорный, —
Тот голос памятный: — Ужо Тебе!

— Да что же это, да чье же это такое, наконец?

— Автору — семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ — Павлик А.

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ — поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся — стихами.

Пахнуло Пушкиным: теми дружбами. И сверху — ответом:

— Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро — новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,
Лишь только бы мне знать,

что будут на меня глядеть

Твои глаза...

— А этот — из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик — он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма — разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только — черноглазый: Пушкин — легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни,

нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы — так, что мы — внутренно — звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке — не знаю сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: — Павлик, как вы думаете — можно назвать — то, что мы сейчас делаем — мыслью?

Павлик, еще более робко: — Это называется — сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. — «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы высказывают, а вместо барышни — я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» — привел. — А вот это, Марина, мой друг — Юра З. — с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза — на это ушло много времени, ибо Юра не кончался — я обнаружила Верины глаза и рот.

— Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы — брат... У вас не может не быть сестры Веры!

— Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас — вместе и нас порознь — своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был — глубокая ночь, которая была — раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —
С братом — брат, с другом — друг.
Вместе, на одной постели...

Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,
Полюбила их навеки,
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!
Лучше буду, лучше буду
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась — Метель.

Чтобы сдержать свое слово — не разводить *этих* рук — мне нужно было свести в своей любви — другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, — мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле — усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает — дела не меняло.)

Отношение с самого начала — стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе — и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: — Вы? — Я. — А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам *без* Павлика? — Когда? — Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка — уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени — еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное — не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я — даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была — он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть, да? — пока еще — нет — и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества. (Еще одна такая победа — и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же — оказался, то я и одарила его Павлика —

в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне — для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы — бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были — студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера — когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священные, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен — лицом: 1917 г. — Павлик А., зима 1918 г. — Юрий З., весна 1919 г. — Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность — моя последняя, посмертная верность.)

Итак — та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но — так, что я боялась — волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала — могу сказать — в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поют! — самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат
Высокая луна.

Ты — женщина, ты ничего не помнишь,
Не помнишь...

(настойчиво)

не должна.

Странице — сон.

Страннику — путь.

Помни! — Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.)

Когда я кончила — все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я — замолчала. — Великолепно. — Необычайно. — Гениально. — Театрально — т. д. — Юра будет играть Господина. — А Лиля Ш. — старуху. — А Юра С. — купца. — А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: — *Ты* — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги коротки.)

(Я, молча: — Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив — за-благодарили. — За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец — он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединая меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: — Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе — моя любовь?*

— А это, Марина, — низкий торжественный голос Павлика, — Софья Евгеньевна Голлидэй, — совершенно так же, как год назад: — А это, Марина, мой друг — Юра З. Только на месте *мой друг* — что-то — проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени выются! — ко-

сы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

— Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха — сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми — дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

— О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно — я сама вас так полюбила сразу.

— А он *не* полюбил.

— Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю — за то, что не любит вас — на коленях.

— Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

— Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

— Значит, внутри пылало, а я боялась — всю сцену — весь театр — всю Москву сожгу. Я тогда думала — из-за него, что ему — его — себя, себя к нему — читаю — перед всеми — в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало. Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета.

Пыление ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

— Сонечка, откуда при вашей безумной жизни — не спите, не едите, плачете, любите — у вас этот румянец?

— О, Марина! Да ведь это же — из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпитафия:

Elle était pâle — et pourtant rose...¹

То есть бледной — от всей беды — она бы быть должна была, но, собрав последние силы — нет! — пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица — даже самые молодые — цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, — да, конечно, это был — порт, и она — фонарь, а все мы — тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

¹ Она была бледной — и все-таки розовой... (*фр.*).

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) — пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire — quoique je ne me souvienne pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire — des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur — et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté — mauvaise volonté des autres — elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant — si!

Belles, belles, telles des raisins égrénés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer — on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer à chaudes larmes»? Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes,

et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber — roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

...On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart¹.

* * *

А вот, что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

— Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun

¹ Ее смех был так близок к слезам — а слезы так близки к смеху, — хотя я не помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, излучение тепла, а не влажности, ибо при всем своем желании (нежелании — других), ей не удавалось пролить ни единой слезинки.

И все же — !

Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее, плачущей, хотелось смеяться — от наслаждения! Это и есть, вероятно — «плакать жаркими слезами»? Значит, я видела человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех прочих — у меня, у остальных — они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так был силен жар ее щек, что они казались розовыми. Горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море.

Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски (*фр.*).

ardent et velouté qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose trémière presque noire qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun: voilà tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de vorte espalier¹.

¹ Эдмон Абу... в «Горном короле»:

— Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего же спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, хотя и не передают точно, чудесный оттенок ее глаз.

Если вы когда-нибудь бывали в кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге; но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал — это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем саду (*фр.*).

Ведь она себя играет, значит — не играет во все. Она — просто живет. Ведь Сонечка в комнате — и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

Выходит маленькая, в белом платье, с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает: — Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью пришиливала... А мне сты-ыдно...

Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.

Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. — «А вы видели? такая маленькая, в белом платье, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

Белые Ночи были — событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и оболъщений исчезающая — как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту — на себя и жилище. Посреди огромного сарая — туфля.

Одинокая, стоптанная. И вот — размахом ноги — через всю сцену. Навела красоту!

Но это — не Сонечка. Это к Сонечке — введение.

Второе? Мне кажется — что-то морское, что-то портовое, матросское, — может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

А третье — занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку — Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке — или об Евгении Багратионовиче — так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя — концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков — вся и Сонечкина *игра*.

Думаю, что даже платъице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, — шестнадцатилетнее, может быть?

— Ходил на спектакль Второй студии. Видал Вашу Сонечку...

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, — такая же *моя*, как мои серебряные

кольца и браслеты — или передник с монистами — которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать — за никому, кроме меня, ненужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это станет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было — никогда, к любимым вещам — всегда. Даже не как к любимой книге, а именно — как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще — моему, еще в том кургане — моему, у того цыгана — моему, кольцу так же мне радующемуся, как я — ему, так же за меня держащемуся, как я за него — самодержателю, неотъемлемому. Или уж — вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня — точно на Сонечку не могут разориться! — я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и *оне*) не понимают, что она — именно Сонечка, что иначе о ней — грубость, что ее нельзя — *не* ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Ин-

фанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая *не* общественный деятель) звать за глаза по фамилии — фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же — за глаза — ее детским именем — признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства — даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее — как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне — Сонечка. С почтительным добавлением — ваша.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности — во избежание недоразумений:

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но — только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было — слишком тонка была работа лица: работа — мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины — так раковину работает океан — от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц — и ушко! — все было рез-

ное, точеное — и одновременно льющееся — точно эту вещь *работали* и ею же — *играли*: не только Океан работал, но и волна — играла. Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage était plus perle et plus rose¹.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит — весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее — апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня — на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах — жалоба: — Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить — вас, Марина, не полюбить вас — на коленях — немислимо, несбыточно, просто (удивленные глаза) — глупо? Потому я к *вам* так долго и не шла, потому что *знала*, что вас так люблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас *уже* любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза —

¹ Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее (*фр.*).

читать. А потом — о, какой нож в сердце! какой нож! — когда он к вам *последний* подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, — так что он совсем *в вас* говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь — мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть *вы*, Марина, и теперь я сама вижу, что он *не мог* вас любить, потому что — если бы мог вас любить — он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы — был, или не Антонием, а вообще святым...

— Юрием.

— Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал. И ушел бы в Армию.

— Святым Георгием.

— Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьём, как на кремлевских воротах! Или просто бы *умер* от любви.

И по тому, как она произнесла это *умер* от любви, видно было, что она сама — от любви к нему — и ко мне — и ко *всему* — умирает; революция-не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики — все равно умрет от любви, потому что это ее призвание — и назначение.

— Марина, вы меня всегда будете любить?

Марина, вы меня *всегда* будете любить, потому что я *скоро* умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру, и потому, потому все так *безумно, безнадежно* люблю... Когда я говорю: Юра — вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... — Только вас, Марина, нет в других городах, а — их!.. — Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль — тот, кого вы могли бы любить? А может быть — сходит с корабля — у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос — все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За пять минут — все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию — конечно, не все эти широты и долготы и градусы (меридианы — любила), — имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! — и что на каждой точке этого земного шара — потому что шар

только на вид такой маленький и точка только на вид — точка — тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем-самым ртом, тем-самым полным ртом, тем-самым полным *ил* ртом! потому что и *это* правда, потому что *оба* — правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать — у меня чего-то не хватает, ну — как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что верхушка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю — ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. — Чему нас в школе учат?! — Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) — за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар — со всеми моими любимыми!

«...Ни кто — часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией — и вот, сквозь эту

«талию» — тончайшей струечкой — песок — в пятиминутный срок.

— Вот еще пять минуточек прошло... (Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, нежданно.) — Сейчас будет последняя, последняя! песчиночка! Все!

Так она играла — долго, нахмутив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я — в нее.) И вдруг — отчаянный вопль: — О, Марина! Я пропустила! Я — вдруг — глубоко — задумалась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что — представьте себе, что мы на острове, кто нам скажет, *откуда* нам знать?!

— А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? — Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шести цепей! Или — проще: с нами после кораблекрушения спасся — кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что «Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des chats»¹. У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему в глаза и ответил: — Полдень.

— Да, но я про эту струечку, которая одна

¹ Китайцы узнают время по кошачьим глазам (*фр.*).

знала срок и ждала, чтобы я ее — перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

— Вы *время* убили, Сонечка:

Который час? его спросили *здесь*,
А он ответил любопытным: — Вечность.

— О, как это чудесно! Что это? Кто этот *он* и это *правда* — было?

— Он, это с ума сшедший поэт Батюшков, и это, правда, было.

— Глупо у поэта спрашивать время. Бездарно. Потому он и сошел с ума — от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! *Ему* нужно говорить время, а не у него — спрашивать.

— Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели проверить.

— И опозорились, потому что это ответ — гения, чистого духа. А вопрос — студента-медика. Дурака. (Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки.) Но, Марина, представьте себе, что я была бы — Бог... нет, не так: что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку — и — *кончено* время.

...Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать...

Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшительное (*умалительное, умолительное, умилительное...*), вся речь. Точно ее маленькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре — может быть и актерские, актрисинские, но, Боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например — манерочка. «Как я люблю вашу Алю: у нее такие особенные манерочки...»

Манерочка (ведь шаг, *знак* до «машерочка»)! — нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой — старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом — актриса. А может быть институтка, гувернантка и потом — актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети...)

— Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка...

Манерочка... гримасочка... секундочка... струечка... а сама была... девочка, которая ведь тоже — уменьшительное.

— Мой отец был скрипач, Марина. *Бедный* скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила, — он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. (Обманывает меня или нет — память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора — придворный? Английского? Русского? Потому что — я забыла сказать — Голлидэй есть английское Holiday — воскресенье, праздник.

Сонечка *Голлидэй*: это имя было к ней привязано — как бубенец!)

— Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры, и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые — настоящие леди. Это я — такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою — и делом заботилась. — Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были *хорошие* платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием восторга) — красавицы. Они высокие, Марина, стройные — это я одна такая маленькая. — И вы, такая маленькая, младшая, должны... — Именно потому, что такая маленькая. Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам — всегда — во всех сказках — много нужно. Не могут же они одеваться — как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платье — в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала — сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) — голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских шляпах...

— Гляди, Алечка, видишь — эти две дамы. Это мои сестры. Правда, они — красавицы?

— Вы — лучше.

— Ах ты, дитя мое дорогое! Это тебе лучше, потому что ты меня любишь.

— Я потому вас люблю, что вы лучше всех.

Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки — иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь — я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались — сестры. Сестры — Золушки.

Мать помню как Сонечкину *заботу*. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была са-

ма Сонечка. Недаром ее «Белые ночи». — Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я *никогда* не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах» не только она, но еще и *он*, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я — двоюсь, а меня — два, двое: даже в любви к Юре: я — я, и я — еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал — знаю (оттого и не жду ничего!) — мне смешно сказать: когда я — он, мне самой лень меня любить...

Только с Вами, Марина, я — я, и — еще я.

А верней всего, Марина, я — все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама — белая ночь...

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо московского «плохо». — А это очень худо? — Что? — Говорить «худо», — и сама смеется. — Для вашего худа, Сонечка, одна рифма — чудо.

Кто и откуда,
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: — Кто и откуда? — уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.
Может, письмо Вам угодно оставить родным,
Может быть, локон угодно отрезать на память.
Все, что хотите — просите! Такой уж день:
Всё Вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом —
все, говоримом за час перед казнью, в этом
часе, даримом и творимом, в этом последнем
любовном и последнем жизненном часе, в
предсмертном часе, вмещающем *всю* любовь.

В этом — Розанэтта — имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей
повести в тебя влюбились — все мужчины,
изревновались к тебе — все жены, истрада-
лись по тебе — все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадях с ее
жалобного, в первый приход ко мне, возгла-
са: — О, Марина! (Эта умница ни разу не на-
звала меня «Ивановна», как с «Белыми нача-
ми», сразу — второй (тысячный) раз.) Как я
бы вашу Даму в «Метели» — сыграла. Как я
знаю каждое движение, каждую интонацию,
каждый перерыв голоса, каждую паузу —
каждое дыхание... Так, Марина, как я бы —

ее *никто* не сыграет. Но я не могу — я такая маленькая...

Не ростом — не только ростом — мало ли маленьких! — и маленькость ее была самая обыкновенная — четырнадцатилетней девочки — ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой — *была*... А год был — Девятнадцатый. Сколько раз — и не стыжусь этого сказать — я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой — большого плаванья... Но таких в Москве Девятнадцатого года — не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эфффе́кт» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака — хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин — умер и что я за тридевясть земель и двудевять лет — просто — вою?!)

...Ни малейшего женского кокетства. Задор — мальчишки (при предельно-женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство — *lutin*¹. Вся что немцы называют

¹ Шаловливость (*фр.*).